

Луна

1

Это была... пятница. Да, точно, пятница. У Фриды был день рождения. Поэтому сразу после работы он купил цветы и поехал к Фриде. Пили шампанское. Очень весело было и приятно. Она так чудесно смеялась... И вообще рядом с ней было очень... Замечательно... Засиделись... Он сильно торопился домой, но на машине после шампанского с водкой ехать так не хотелось... Побежал на вокзал – благо близко совсем. Электричка долго не трогалась, и он отчего-то стал вдруг задремывать и, кажется, таки задремал... Потом, будто сквозь сон, услышал какой-то ужасающий звук... и... все...

2

К счастью, Шехтель так и не понял, что произошло в электричке. Он очнулся ранним летним вечером только через пять дней. Свет уходящего дня больно резал даже сквозь прикрытые веки. Шехтель попытался закрыть лицо руками, но руки не подчинились. Ему это странным не показалось, так как он чувствовал себя скованно, вяло и желания были тоже скованными и вялыми. Тогда, чуть помедлив, он открыл осторожно глаза и увидел над собой потолок, а вокруг себя странную аппаратуру. Мысли сонно плавали у него в голове; окружающий мир отражался в нем, но не осмысливался. Ко всему еще веки были очень тяжелыми и хотелось снова закрыть глаза и немного поспать. В это время дверь осторожно открылась и в комнату вошла полная медсестра в белоснежном халате и шапочке. Шехтель повернул слегка голову и посмотрел на нее. Увидев это, она вдруг всплеснула руками, улыбнулась, подошла к нему близко, склонилась, приложила прохладную руку ко лбу и сразу же

вышла. Дверь за ней закрылась всего на секунду, тут же вновь распахнулась, и в палату тихо вошла Луна.

Луна села на стул возле кровати, долго и пристально смотрела Шехтелю в глаза, а потом начала рассказывать о том, что с ним произошло; сказала и про пять дней. Голос ее звучал, как всегда, – холодно и отстраненно. Он поэтому слушал ее по привычке вполуха и одновременно, почти автоматически, думал, что она какая-то бледная и голос звучит как-то слабо, хотя обыкновенно голос был ровный и сильный.

Они поженились в конце октября и жили в холодном осеннем браке вот уже скоро четыре года. И всегда, сколько Шехтель ее знал, она была сдержанной, абсолютно спокойной, холодной... Ледышка – и только! Он за это звал ее дома Луной.

Иногда, до бешенства просто, хотелось с ней поругаться, но это ему за все годы совместной их жизни ни разу не удавалось: стоило только попытаться затеять ссору, как она немедленно собиралась и в любую погоду надолго уходила из дома, чаще до самой ночи; приходила, когда он уже спал, и утром вела себя как ни в чем не бывало.

Каждый год он дарил ей на день рождения духи «Лунный свет» и бледную чайную розу. Луна улыбалась одними губами, бесстрастно целовала его в щеку, ставила розу без воды в высокую синюю вазу, а духи прятала в шкафчик и больше к ним не прикасалась. Так и жили.

И сейчас она ровно и почти отстраненно говорила, что с ним все нормально, все цело, только несколько небольших переломов и серьезная травма черепа, но врачи думают, что с ним все будет в порядке, хотя пролежать в больнице придется довольно долго. А теперь ей пора уходить, так как свидание разрешили всего на пару минут, а завтра с утра она придет снова. Напоследок она наклонилась и совсем осторожно коснулась губами его потрескавшихся безжизненных губ, повернулась и, не оглядываясь, вышла за дверь.

За дверью ее улыбаясь ждала медсестра.

– Ну вот, видите, профессор вчера еще вам говорил, что все будет нормально, что муж ваш поправится, он у вас вон какой сильный. А теперь вам надо домой, разве ж так можно, идите, хоть немного поспите, завтра придете снова, когда захотите, – говорила она торопливо, стараясь не дать себе возражать, не дать с собой спорить, – идите, теперь обязательно все будет в порядке...

Луна слегка улыбнулась, несильно пожала толстые пальцы, на секунду присела на откидное сиденье возле стены, немедленно встала и направилась к лестнице, ведущей на выход, но шла так неуверенно и так осторожно, как будто бы был под ногами не пол, а снежком припорошенный лед. А в памяти у нее вдруг вспыхнуло ее домашнее имя, и она шепотом повторяла его не переставая, пытаясь как можно точнее попасть в характерную пренебрежительную и едкую интонацию мужа, и губы ее непроизвольно складывались в безжизненную улыбку.

Луне почему-то казалось, что имя ее – паутинка, на которой держится на этом свете душа ее мужа. Паутинка была такой тоненькой и непрочной, паутинку так надо было беречь, что больше ни на секунду, ни на что нельзя было отвлекаться... И она и не отвлекалась, ни на секунду!..

Луна почти дошла до конца длинного сумеречного, заполненного людьми коридора, когда у нее вдруг все бешено завертелось перед глазами и последнее, что она слышала, был женский отчаянный вопль: «Паа-даа-ет!!» А потом наступила долгая и безлунная ночь.

Капкан

Я сижу в капкане. Сижу долго. С утра. Боли уже почти не чувствую, хотя сначала жгло смертельной огня. Теперь тело все затекло, боль притупилась... и место боли заняли мысли. Первой явилась мысль, что скоро придут ловцы и откроют капкан. Потом, наверно, убьют, выпотрошат, сдерут шкуру, пустят на мех, на мясо, черт знает на что!.. Но ведь сначала – освободят! А если нет? Если убьют прямо в капкане? От этой мысли меня начинает подташнивать. И я принимаюсь искать лазейку в тенетах ужаса. «Нет! – думаю я. – Так быть не должно! Вон я какой! Тощий, облезлый, жалкий... Ни кожи, ни рожи... Может, меня такого возьмут да отпустят?!» Я делаю резкое движение, и капкан злобно впивается в тело. Я теряю сознание и, когда прихожу в себя, замечаю, что тени стали длиннее. Боли не чувствую снова. Снова появляются мысли.

Скоро придут ловцы, освободят из капкана и не убьют, а посадят в клетку. Эта мысль ласкова, как прохлада в жару. Жаль, ласка быстро проходит, и я начинаю сравнивать, что лучше: смерть, капкан или клетка. Смерть – это покой, но это – ничто. Капкан – это невыносимая мука, но это жизнь. Клетка – это жизнь и – позор. Я размышляю недолго. Всем своим измученным телом я выбираю позор. Но до позора надо еще дожить и не подохнуть в капкане, не дождавшись ловцов.

Становится холодно. Тени становятся длинными, как прутья решетки, и острыми, как зубья капкана. Сил терпеть больше нет, потому что огонь жжет уже и тело, и мозг, и все мое изувеченное Я, и каждую клеточку отдельно... Сил терпеть больше нет, как нет больше сил ждать и думать, что будет дальше. Сил терпеть больше нет. Ночь наступает. Значит, ловцы не придут. Значит, сидеть в капкане еще целую ночь. Целую вечность. Пока не подохну! Сил терпеть больше нет! Я решил отгрызть себе лапу. Больше не будет.

Вакханка

Памяти Зары Довжанской

1

Вакханка была стара и немощна. Время стерло ее лицо, но ум и язвительность оставались при ней и служили ей верно. Однажды ночью, ей было тогда тридцать два, ее нашли возле дома остриженной наголо, с перебитыми ногами и проломленной головой. Она долго была в беспомощности, потом заговаривалась, никого не хотела узнавать и с тех пор не ходила.

Дом, где она обитала, огромный был, с садом... В нем всегда суегились прорва народу, и это ее раздражало. Теперь раздражало. Наверно, поэтому в доме весь день слышались визгливые фиоритуры, в которые она превратила свой, некогда искусительный, смех.

Тех, кто знал ее раньше, когда она была обольстительна и шикарна, почти не осталось, а те, кто остался, не очень стремились водиться

с нею: грехи наши тяжкие... Те, кто не знал ее раньше, были довольно о ней наслышаны и глядели теперь брезгливо и жестко, чего она, кажется, не замечала или же замечать не желала.

Были еще такие, кто глядел на нее с ухмылочкой; этакой, знаете... Этим она говорила гадости и рассказывала скользкие анекдоты, от которых мужчин бросает в краску, когда их рассказывает дама. Иногда из-за этого возникали скандалы; ей читали морали, взывали к совести, корили годами... Напрасно. Назавтра все повторялось. Ей не было больше дела до чьих либо мнений, как не было, впрочем, и раньше.

2

Был полдень. Июльский безумный полдень. От жуткого пекла в воздухе висело зыбкое марево. Сонно чирикали невидимые пичуги. Изредка из-за забора доносился ленивый уличный шум. Дачный дом погрузился в спасительную дремоту... И только она каталась в кресле по дорожкам дачного сада, равнодушная к зною, равнодушная к дремотно текущему времени. Она ездила одна среди старых фруктовых деревьев, малиновых зарослей и цветочных полянок и напевала старую песенку – циничную и пустую. Когда-то, когда она пела эту песенку, кавалеры были в восторге. Песенка обещала им нечто, ради чего они толпами здесь собирались... Но стоило ей запеть ее теперь, как вокруг раздавалось лицемерное шипение и в воздухе появлялся отвратительный запах презрения и гадливая злоба. Что позволено было когда-то молодой обольстительной диве, не позволено было теперь старой больной короле. Старой дурной короле!!

Но сейчас, сейчас, когда не было никого, можно было без всякой оглядки петь вульгарную милую песенку и хохотать, хохотать!..